

Фашизм как дискурс и психополитика

Шеметов Г.А.

Исследование обществ позднего капитализма, то есть обществ постсовременных, институциональные и внеинституциональные логики функционирования которых трансформируются в сравнении с предшествующей эпохой модерности, позволяет проблематизировать новый антропологический опыт, подвергаемый отражениям и реинтерпретациям в различных кодах культурного универсума. Существенный интерес в этом отношении представляют кризисные и нестабильные общества, находящиеся в исторических точках бифуркационной катастрофы и мутации (к числу таковых с полным на то основанием можно отнести и российское общество). Мы склонны утверждать, что их многомерные и противоречивые диспозиции дают возможность описать и диагностировать уникальную симптоматику структур сознания и жизненного мира, которые обнаруживают свой травматизм в экстремальном режиме обострения.

Характеризуя динамику регрессивных психополитических процессов в указанных обществах, следует указать на методологическую продуктивность обращения этого теоретического жеста к концептуальной фигуре «фашизма» и эвристичной традиции ее осмысления в современной философии. Данная работа обращает читателя к этому интеллектуальному опыту во всех его противоречиях в надежде, что он не окажется забытым. Тем не менее, вариант неклассической рациональности, являющийся фоновым для предлагаемой статьи, позволяет избежать наивной позитивистской установки по отношению к изучаемому объекту. Необходимо предостеречь от попыток насильственного терапевтического предписания со стороны какой бы то ни было инстанции, апеллирующей к своей трансцендентальной безгрешности. Стремясь показать революционный потенциал фрактального расчленения дискурсов, следует акцентировать внимание на невозможности оккупационных претензий со стороны метанарративных абстрактных дефиниций. Можно сказать иначе: наблюдатель всегда-уже включен в наблюдаемую систему, и его наблюдающая функция вносит неконтролируемые возмущения в становление системы. Эта позиция детерминированного хаоса определяет сложную, сингулярную структуру «странных аттракторов» социальности, по которой происходят случайные блуждания и которая может описываться исключительно сложными и нелинейными языками.

В плане самоописания общественных систем речь здесь идет о снятии оппозиции между индивидуальными (подчиненными) и социальной (доминантной) историями в контексте того, что Э. Гидденс назвал динамичной «институциональной рефлексивностью». Институциональная рефлексивность означает отказ от субъектно-объектной познавательной доктрины и закат онтологических означаемых, поскольку понятия, вводимые для описания

общественных институтов, мгновенно трансформируют их параметры: «Непрерывное инкорпорирование знания... дает базовое побуждение для тех изменений, которые охватывают личные, равно как и глобальные контексты действий» [Гидденс Э. Трансформация интимности. Сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах. СПб.: Питер, 2004. С. 56]. Иными словами, непосредственное взаимопроникновение власти и субъективности демонстрирует неограниченную во времени изменчивость события, а характер диалектического напряжения между «реализмом структуры» и «субъективизмом» дает возможность понять особенности политического производства и воспроизводства жизни на том или ином отрезке истории. Как отмечал Ж. Делез, «писать – значит быть одним из потоков, не обладающим никаким преимуществом по отношению к тем, что сливаются с другими потоками в общее течение, либо образуящим противотечение или водоворот, поток дерьма, спермы, слов, действий, эротизма, денег, политики и т.д.» [Делез Ж. Письмо суровому критику // Делез Ж. Переговоры. СПб.: Наука, 2004. С. 20]. Наша задача заключается в том, чтобы наметить подступы к определению специфических особенностей дискурсивного и психополитического ландшафта фашистского общества, погружаясь в переплетения этих потоков и сближаясь с противником для того, чтобы подорвать его изнутри. Инструментарий, получаемый в результате подобной работы, дает возможность активизировать контекстный освободительный потенциал деконструктивной политики различия по отношению к злокачественным опухолям ненависти и диктатуры, утверждая идеалы радикальной демократии.

Известно, что этимологически итальянское слово «fascismo» происходит от «fascio», что означает «пучок», «связка» или «объединение». Речь идет о единстве, недифференцированном, противоречивом и беспорядочном. Фашизм, не имея логически выстроенного и философского стержня, тем не менее, отчетливо ориентирован на определенные архетипы. У. Эко отмечает, что если «немецкий нацизм был уникален», то «с термином «фашизм» можно играть на многие лады» [Эко У. Вечный фашизм // Эко У. Пять эссе на темы этики. СПб.: Симпозиум, 2000. С. 65]. Его обосновано употреблять повсеместно именно потому, что «даже если удалить из итальянского фашистского режима один или несколько аспектов, он все равно продолжает узнаваться как фашистский» [Там же. С. 66]. Чтобы внести определенность, Эко предлагает вычленив типические характеристики Вечного Фашизма («ур-фашизма»), отмечая, что «достаточно наличия даже одной, чтобы начинала конденсироваться фашистская туманность» [Там же. С. 67]. Мы перечислим эти характеристики, прибегая к их дополнительному и расширяющему обоснованию из различных социально-философских, культурологических и художественных источников.

1. *Культ традиции, синкретизм и неприятие модернизма.* Традиционализм, выступая «доминантой контрреволюционной католической мысли после Французской революции», зародился «в поздний эллинистический период как реакция на рационализм классической Греции» и ориентирован на

поиск утраченных смыслов и откровений, вверенных «египетским иероглифам, кельтским руинам, а также священным, доселе не проясненным памятникам азиатских религий» [Там же. С. 68]. Фашистская культура синкретична, основа сочетания разноплановых верований и практик – пренебрежение к противоречиям. «Исходя из подобной логики, все первородные откровения содержат зародыш истины, а если они разноречивы или вообще несовместимы, это не имеет значения, потому что аллегорически все равно они все восходят к некоей исконной истине» [Там же]. Поскольку истина уже провозглашена раз и навсегда, развитию знания нет места, и главное внимание уделяется многочисленным интерпретациям коллажей традиционалистских текстов. Так, «наиважнейший теоретический источник новых итальянских правых, Юлиус Эвола, смешивает Грааль с «Протоколами Сионских мудрецов», алхимию со Священной Римской империей» [Там же]. П. Бурдые описывает духовную ситуацию Веймарской республики, идеологический настрой, пропитавший в данный период времени образованную буржуазию, акцентируя внимание на дискурсивных механизмах нисходящей популяризации и синкретической «неточной объективации коллективного Stimmung»: «Эти бесконечные «источники», бьющие отовсюду, демонстрируют основополагающую черту идеологической конфигурации, составленной из слов, функционирующих как экстатические или негодующие восклицания, и полуученых перетолкованных тем – «спонтанных» индивидуальных изобретений, объективно согласованных через согласованность габитусов и аффективное соединение общих фантазмов, создающих видимость единства и вместе с тем бесконечной оригинальности» [Бурдые П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера. М.: Праксис, 2003. С. 28, 29].

Несмотря на то, что фашистские правительства использовали технику как внешний эффект индустриализации в политических целях, а в Италии не подвергались репрессиям новаторские опыты авангардистского искусства, «те самые, которые в Германии преследовались как упаднические, так как они отличались от нибелунгового кича» [Эко У. Вечный фашизм // Эко У. Пять эссе на темы этики. СПб.: Симпозиум, 2000. С. 62] (более того, многие партизаны и представители левой интеллигенции вышли из фашистских организаций университетских студентов, которые замышлялись как колыбель новой фашистской культуры), в целом, теория «Blut und Boden» приводит к «отрицанию духа 1789 года (а также, разумеется, 1776-го) – духа Просвещения» [Там же. С. 70]. Речь идет об отношении к миру, которое не поддается дискурсивному и рационализированному выражению, но «распознается по телесному hexis», являясь причиной смутных, но неотступных вопросов «о технике, рабочих, элите, народе, истории, родине» [Бурдые П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера. М.: Праксис, 2003. С. 29]. Неудивительно, что «эта проблематика находит свое привилегированное выражение в кино, например, в массовых сценах у Любича, в очередях из фильмов Пабста (парадигматические воплощения das Man), или в своеобразном конденсате всех

фантазмов-проблем, «Метрополисе» Фрица Ланга, этом переводе в пластический жанр юнгеровского «Der Arbeiter» [Там же]. Бурдые цитирует О. Шпенглера, чтобы показать психосоциальную и духовную атмосферу, радикально порывающую с модернистскими установками: «Фаустовское мышление начинает ощущать *тошноту* от машин. Распространяется утомление, своего рода пацифизм в борьбе против Природы... *Большие города* становятся ненавистны людям, и они стремятся вырваться из-под давящей тяжести *бездушных фактов*, из жесткой и холодной атмосферы *технической организации*... *Оккультизм и спиритизм, индийские философии, метафизическое любопытство* под покровом христианства или язычества, - все, что было предметом презрения в дарвиновскую эпоху, сегодня обретает новую жизнь» [Там же. С. 32]*.

Иррационалистический, антидемократический и антимодернистский дискурсы, одним из наиболее ярких примеров которого выступает творчество «консервативного анархиста» Э. Юнгера или создателя «Заката Европы» О. Шпенглера, имеют определенную логику производства. Выстраивая оппозиции, замкнутые на антитезе поработщенного зоологической уравнительностью, техникой и наукой индивида, с одной стороны, и бунтаря-одиночки, «уходящего в леса» по непроторенным тропам, возвращающегося к «родной почве», «истокам», «корням», «мифу», «мистериям», «священному», с другой, Юнгер, как и Шпенглер, использует некоторый набор основополагающих оппозиций, конституированных сомнительными аналогиями. Бурдые отмечает, что на основе первичных схем и практических эквивалентов, которые поддерживают данные оппозиции («культура – цивилизация», «динамика – статика», «внутреннее – внешнее», «органическое – механическое», «цель – средство» и т.п.), каждый мыслитель производит собственную

* Мотивация предвестников современного движения «deer ecology» и сквотеров, экосаботажников и борцов с антропоцентризмом за экологическое равенство всех живых и неживых существ во Вселенной, возможно, становится более понятной сегодня, когда, по словам Г. Дебора, «в природе больше не существует ничего, что бы не было трансформировано и загрязнено сообразно средствам и интересам современной индустрии» и «даже генетика всецело стала подвластна господствующим в обществе силам» (Дебор Г. Отрывки из «комментария к «обществу спектакля» // Антология современного анархизма и левого радикализма. М.: Ультра. Культура, 2003. С. 210). Мы разучились «слушать внутри своих сердец голос плачущей земли», а потому неудивительны рассуждения П. Вирилио о тоталитарной технокультуре. Начав с катетерных исследований сердца и почек, опосредованных цифровыми матрицами, наука перешла к перспективам эндоколонизации генома, что в условиях отсутствия общественного контроля над деятельностью транснациональных корпораций порождает наномашинный фашизм: «Чем сможем мы оправдать производство и беспощадную коммерциализацию человеческих клонов, призванных *умирать живьем*, как животные, за колючей проволокой какой-нибудь экспериментальной фермы, в глубине запретной зоны, где мы не увидим этих других нас самих и не услышим их крики?» (Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия обмана. М.: фонд «Прагматика культуры», 2002. С. 32). Тем не менее, более продуктивной представляется позиция американского анархиста М. Букчина, называющего сторонников «глубинной экологии» антигуманистами и экологами-мистиками, которые растворяют культуру в «горгии иррационализма». По его мнению, нельзя воскрешать натуралистический фундаментализм, но необходимо установить контроль над отношением человеческого сообщества к природной среде, преодолевая разрыв между ним и креативным процессом природной эволюции. Народные ассамблеи свободных сообществ должны быть дебюрократизированы, децентрированы и построены на принципах диффузной горизонтальной самоорганизации, предполагающей взаимную ответственность и открытость, а экотехнологии создадут экономические предпосылки для реализации программы эконоанархизма.

последовательность: «используя матричную оппозицию... он может создать – по случаю или в зависимости от контекста – такие ее приложения, которые строгая логика признала бы противоречивыми, хотя они и оправданы в логике эквивалентности практических оппозиций, положенных в основу частичных систематизаций» [Там же. С. 51]. Система общих схем порождает гомологичную топику, организующую восприятие мира: «Таковы... оппозиции между культурой и цивилизацией, Германией и Францией, «общностью», теннисовским *Gemeinschaft*, и «народом» (*Volk*) или атомизированной «массой», иерархией и уравниванием, *Fuhrer* или *Reich* и либерализмом, парламентаризмом или пацифизмом, деревней или лесом и городом или заводом, крестьянином или героем и рабочим или коммерсантом, жизнью или организмом (*Organismus*) и техникой или обесчеловечивающей машиной, тотальным и частным или частичным единением и раздробленностью, онтологией и наукой или рационализмом без Бога и т.д.» [Там же. С. 52]. При этом особенностью «философии» «консервативных революционеров» является то, что она определяется негативно: «Путем простой замены знаков она выводится из качеств ее противников: франкофилы, евреи, прогрессисты, демократы, рационалисты, социалисты, космополиты, левые интеллектуалы (чьим символом выступал Гейне) в некотором смысле призывают отрицать себя в националистической идеологии» [Там же. С. 53]*.

2. Первая описанная характеристика тесно связана с культом *действия ради действия*. Поскольку, как утверждает Эко, для фашизма «действие прекрасно само по себе», осуществляется «вне и без рефлексии», по определению немужественной, «культура видится с подозрением, будучи потенциальной носительницей критического отношения» [Эко У. Вечный фашизм // Эко У. Пять эссе на темы этики. СПб.: Симпозиум, 2000. С. 70]. «Тут все: и высказывание Геббельса «Когда я слышу слово «культура», я хватаюсь за пистолет», и милые общие места насчет интеллектуальных размазней, яйцеголовых интеллигентов, радикал-снобизма и университетов – рассадников коммунистической заразы» [Там же]. Поскольку критический подход оперирует недопустимыми для синкретической структуры фашизма

* Сейчас мы намеренно оставляем в стороне сложный и дискуссионный вопрос о фашистских эффектах тоталитарной соцреалистической культурной парадигмы. Впрочем, учитывая особенности фашистского культурного дискурса, описанные Бурдые, и ссылаясь на масштабное исследование советской художественности Т. Кругловой, которая выделяет такие особенности соцреалистической культурной парадигмы как противоречивая тотальность, «принцип неопределенности», отказ от репрезентации, «идеологический язык», устанавливающий мотивированный характер связи знака и денотата, механизмы десемантизации и прагматической перестройки, а также антисистемная подвижность и зеркальность категорий (см.: Круглова Т. Советская художественность или Нескромное обаяние соцреализма. Екатеринбург: Изд-во Гуманитарного университета, 2005), можно утверждать параллелизм фашистской и соцреалистической парадигм культурного производства. Обе они с очевидностью противоречат либерально-демократической модели культурного творчества, вводя в употребление фигуративные эстетические мифологии власти, организующие со-бытие в условиях отсутствия автономного поля культуры, в то время как в условиях демократии эти эстетические фигуры бесконечно измельчаются, ускользая от тотализации и системной организации (см.: Национальная эстетика и метафизическая традиция. Беседа с Ф. Лаку-Лабартом; Невыносимость непредставимого. Беседа с Ж.-Л. Нанси // Рыклин М. Деконструкция и деструкция. Беседы с философами. М.: Логос, 2002).

дистинкциями (атрибутами современности), несогласие (основа развития знания) воспринимается в его рамках как предательство.

3. Ур-фашизм замешан на *вождизме* и *расизме* в силу того, что эксплуатирует прирожденную боязнь инородного, инаковости во всех ее формах, антинаучно и необоснованно натурализируя и гомогенизируя понятие народа или нации как тотальности и органического единства. Подменяя революционные идеи интернациональной классовой борьбы концепцией естественного единства, правящая элита канализирует недовольство масс в безопасное для себя русло, фашистское общество «избавляет себя от сотрясающих его конвульсий», а индивиды «принуждаются вести себя уже не как его господа, которые спорят между собой как равные, но как его слуги... В обществе фашистского типа индивид, отрекшись от всякой личной державности, является лишь частью тела, голова которого – вождь-бог» [Батай Ж. Из материалов к книге «Фашизм во Франции» // Фокин С. Философ-вне-себя. Жорж Батай. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2002. С. 263, 265]. В значительной мере такая концепция тотальности обосновывается классической диалектикой, где все диссонирующие различия, в противовес проекту «негативной диалектики» Т. Адорно, поглощаются концептуальным синтезом или тождеством снятия отрицания. Ландшафт политической репрезентации в этом случае радикально обедняется, мир предстает пронизанным однообразием и насилием*. Применительно к нашему размышлению поэтическое воображение Ж. Батая позволяет провести аналогию между «языком цветов» и «языком власти». Реальная красота цветка существует за счет его укорененности «в грязи», где располагаются корни, «которые копошатся под землей – отвратительные, нагие – словно черви» [Фокин С. Философ-вне-себя. Жорж Батай. СПб.: изд-во Олега Абышко, 2002. С. 120]. В политическом плане речь идет о дихотомии между верхним полюсом суверена и низшим полюсом разнородных асоциальных фигур – преступников, безумцев, проституток, бродяг и т.д. При этом «глава фашистского государства подобен «цветку», вознесенному в небо силой спрятанных в «грязи» корней... Подобно цветку, который отрицает видимой красотой незримое «безобразие», «фюрер», достигнув вершины власти, узурпирует и сковывает социальную энергию, благоприятствовавшую его вознесению» [Там же. С. 122], направляет ее на решение реакционных задач насилия и подавления.

4. Ур-фашизм рождается из *индивидуальной и социальной фрустрации*: «Тем, кто вообще социально обездолен, ур-фашизм говорит, что единственным залогом их привилегий является факт рождения в определенной стране... К тому же единственное, что может сплотить нацию, - это враги» [Эко У. Вечный

* Подробный анализ исторической динамики политической репрезентации в Европе, механизмов идеологического упрощения концепта «суверенитет», а также натурализации понятий «народ» и «нация» см.: Хардт М., Негри А. Империя. М.: Праксис, 2004 (гл. «Переходы суверенитета»); Андерсон Б. Воображаемые сообщества. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2001; Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. М.: Логос, 2004.

фашизм // Эко У. Пять эссе на темы этики. СПб.: Симпозиум, 2000. С. 72]. Именно поэтому в основе психологической политики фашизма заложена параноидальная идея заговора, международного или внутреннего. На роль идеального врага отлично подходят отсутствующие и вездесущие евреи в силу исторических причин ризоморфного территориального расселения и идентификации, «потому что они одновременно как бы внутри и как бы вне» [Там же]. Члены сообщества должны чувствовать себя оскорбленными силой и богатством врагов, но с другой стороны они должны быть убеждены в том, что при любых обстоятельствах сумеют одержать победу над врагами. «Так, благодаря колебанию риторических струн, враги рисуются в одно и то же время как и чересчур сильные, и чересчур слабые» [Там же. С. 73], что приводит к стратегическим поражениям фашистских военных режимов*.

5. Для ур-фашизма *жизнь есть вечная борьба*, но нет борьбы за жизнь, а поэтому *«пацифизм однозначен братанию с врагом»*; вместе с тем, комплекс Страшного суда, в соответствии с которым «враг должен быть – и будет – уничтожен», в результате чего данное движение приобретет империалистический контроль над миром, «противоречит тезису о перманентной войне» [Там же. С. 74].

6. Ур-фашизм исповедует *популистский и массовый элитаризм*, «в ходе истории все аристократические и милитаристские элитаризмы держались на *презрении к слабому*» [Там же]. Считается, что «рядовые граждане составляют собой наилучший народ на свете», а «партия составляется из наилучших рядовых граждан»; при этом «вождь, который знает, что получил власть не через делегирование, а захватил силой, понимает также, что сила его основывается на *слабости* массы, и эта масса слаба настолько, чтобы нуждаться в Погонщике и заслуживать его» [Там же]. В силу указанных причин в казарменных и иерархических обществах на вертикали власти «каждый отдельный вождь презирает, с одной стороны, вышестоящих, а с другой – подчиненных» [Там же. С. 75], цинично выказывая по отношению к первым прислужническое отношение.

7. Ур-фашизму свойственен *нормативный культ героизма и культ смерти*, неслучайно девизом фалангистов было «Viva la muerte!»: «Всякого и каждого воспитывают, чтобы он стал героем... Герой ур-фашизма алчет смерти, предуказанной ему в качестве наилучшей компенсации за героическую жизнь. Герою ур-фашизма умереть невтерпеж. В героическом нетерпении, заметим в скобках, ему гораздо чаще случается умерщвлять других» [Там же]. По словам Ж. Батая, «Речь уже идет не о том, чтобы сохранить во что бы то ни стало смехотворное право принадлежать самому себе... Появилась возможность через головы тех, кто со всех сторон ужимает человеческую жизнь до границ своей власти, в экстазе принадлежать смерти» [Батай Ж. Из

* Критику фашистских концепций войны см. также: Беньямин В. Теории немецкого фашизма // Беньямин В. Маски времени. СПб.: Симпозиум, 2004.

материалов к книге «Фашизм во Франции» // Фокин С. Философ-вне-себя. Жорж Батай. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2002. С. 267].

8. Важнейший признак ур-фашизма – *антифеминизм, подавление неутилитарной сексуальности и гомофобия*^{**}. В романе В. Сорокина «Голубое сало» [См.: Сорокин В. Голубое сало. М.: Ad Marginem, 2002] вводится гротескный полисемантический и футуристический образ «землеобов», населяющих «Землю Русскую» в конце 21 столетия и совокупляющихся с ней. Этот образ может быть рассмотрен в качестве квинтэссенции фашистского сознания, особенно, в его психоаналитической трактовке, описание которой мы предлагаем.

Поскольку «как перманентная война, так и героизм – довольно трудные игры», происходит перенос стремления к власти в сферу пола: «На этом основан культ мужественности (то есть пренебрежение к женщине и беспощадное преследование любых неконформистских сексуальных привычек: от целомудрия до гомосексуализма)» [Эко У. Вечный фашизм // Эко У. Пять эссе на темы этики. СПб.: Симпозиум, 2000. С. 76]. Но в силу того, что и сексуальные игры сложны, «герой ур-фашизма играет с пистолетом, то есть эрзацем фаллоса», а «постоянные военные игры имеют своей подоплекой неизбывную *invidia penis*» [Там же].

Физическая культура как часть военно-патриотического воспитания была в нацистской Германии средством формирования нордического характера и соответствовала культу атлетического тела в «мужском государстве» (Гиммлер), дополнявшемся культом высокой рождаемости^{*}. Вместе с тем, И.

^{**} Следует отметить, что гомосексуальная субъективность и гомосексуальные практики в определенных контекстах также могут носить агрессивнo-фашистский характер. Вспомним скандальный фильм «Необратимость» Г. Ноз, обнаруживающий скрытое за двуличной буржуазной респектабельностью Парижа (города четких кодов поведения и платных институтов удовольствий) шокирующее гетто бомжей, наркоманов, сутенеров и инцестуозных педофилов – неочевидный хронотоп, отведенный мегаполисом для выражения сексуальных инстинктов. Кинокартина исполнена бинарной драматургии мужского и женского, где первое маркировано садистскими, витальными, красно-черными образами тоннеля и клуба «Ректум» («Прямая кишка»), а второе – герметичными и самодостаточными образами квартиры и зеленого газона. Гомосексуалист-Солитер, в течение девяти минут истязающий Алекс (а вместе с ней и зрителя, поскольку диспозиция камеры идентифицирует последнего с жертвой), воплощает маниакальную фигуру фашистского фантазма (подробнее см.: Смирнова В. Гаспар Ноз: исповедь культурного варвара // Журнал Kinoart.ru, №7, 2003). Другим травматическим примером служат массовые изнасилования в пенитенциарных системах или в армии (см., например: Бонцлер М. пытки в российской армии. Записки председателя Комитета солдатских матерей. Калининград, 2002). Скрытая гомосексуальность военных, маскируемая и вытесняемая гомофобной истерией, реализует себя в чудовищных средневековых актах казарменного унижения. Как писал лидер «Черных пантер» Х. Ньютон, «Мы хотим дать гомосексуалисту по зубам, потому что боимся, не гомосексуалисты ли мы сами; и мы хотим ударить женщину или заставить ее заткнуться, потому что боимся, что она может кастрировать нас, отобрать у нас яйца, которых у нас, может быть, и с самого начала не было» (Ньютон Х. Движение за освобождение женщин и гомосексуалистов // Антология современного анархизма и левого радикализма. Т. 2. М.: Ультра. Культура, 2003. С. 89).

^{*} Культ высокой рождаемости получает новое выражение в контексте культурной логики капитализма и буржуазных добродетелей. По словам А. Дворкин, «Предполагается, что мужчины должны накапливать сперму точно также, как они накапливают деньги... Логика проста – добро, которое разбазарено, а не инвестировано – это потерянное добро... Одно из значений глагола to spend (тратить) – «эякулировать». Одно из значений глагола to husband (быть мужем) – «сберегать или сохранять». Муж в этом смысле – это тот, кто консервирует или сохраняет свою сперму исключительно для половых сношений с целью оплодотворения... Мальчик тратит свою сперму и свои деньги на женщин. Мужчина использует свою сперму и свою женщину на то, чтобы

Кон отмечает, что «хотя фашистская эстетика восхищалась художественной мужской наготой, реальная, бытовая нагота (даже купание нагишом) была в Германии запрещена, нудизм приравнивался к гомосексуальным актам» [Кон И. Мускулистая маскулинность. Атлетизм или милитаризм? // Гендерные исследования, №6, 2001. С. 119]. Женственность и гомосексуальность считались главными антиподами воинствующей арийской мужественности, а потому эти свойства автоматически приписывались противникам фашистского режима: «Арийскую мужественность противопоставляли еврейской женственности уже в средние века. Итальянский астролог Чеччи д'Асколи в 16 веке даже писал, что после распятия Христа все еврейские мужчины обречены на менструации. Иногда еврейскую «женственность» связывали с обрезанием (в венском диалекте клитор даже называли «евреем»)» [Там же. С. 120]. Символом же нацизма стала скульптура Брекера «Партия» (1933), изображающая обнаженное, но абсолютно бесчувственное и дисциплинарное мужское тело, которому недозволено быть ранимым, чувственным и эротическим и которое неспособно любить.

Многие антропологические проблемы, связанные с исследованием фашистского типа личности, станут более понятными, если обратиться к сексуальной философии Ж. Батая. Исследователи провокационного творчества мыслителя отмечают лежащий в ее основе опыт не столько человеческой, сколько неорганической, хтонической сексуальности, которая может быть описана языком Ф. Гваттари в виде картографии потоков, машинных и нетелесных универсумов. С. Фокин пишет по этому поводу, что «ось, на которой писатель испытывает новые возможности мироощущения, крепится не на человеке, не на общепринятых формах человеческого поведения, а на том, что человек не хочет в себе принимать» [Фокин С. Философ-вне-себя. Жорж Батай. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2002. С. 67]. В «Солнечном анусе» Батай высказывает следующую мысль: «Забытая туфля, испорченный зуб, чрезмерно короткий нос, повар, который плюет в кастрюлю своих хозяев, помогают любви точно так, как стяг помогает национальному государству... Собака, пожирающая желудок гусыни, пьяная женщина, которую рвет, рыдающий бухгалтер, баночка горчицы являют нам то смешение, что служит движущей силой любви» [Там же. С. 68]. Речь в данном случае идет не о перверсии (фетишизме, некрофилии или садомазохизме), но о неорганическом модусе чувствования, в котором индивидуальность децентрируется и рассеивается в безличной и нейтральной бесконечности сущего. Человек всегда остается животным и растением, формой более могущественных исходных сил, которые все время стремятся выйти вне организма, то есть остается трансгрессивным «телом без органов» (А. Арто). Это тело «пульсирует, бьется, содрогается, обнажая узлы напряжения, переходы, перепады, подъемы, спады, будучи, по определению Ж. Делеза, своего рода планом имманентности» [Там же. С. 72].

Если Эко склонен преувеличивать иррационалистическую компоненту фашизма, то Батай, исходя из позиций неклассической рациональности, напротив, утверждает предопределенность трансцендентной логики фашизма фаллоготризмом западной культуры: «фашизм – это чистый фаллотризм, утративший понимание связей тела (социума, полиса) с земным происхождением, это *чистая* мужественность, которая знать ничего не хочет... о высвобождении «абсолютно отвратительных» анальных сил, ставших источником ее подъема» [Там же. С. 74]. Доказательством данного тезиса выступает ссылка на гелиотризм фашизма, культ солнечного мифа в ущерб мифам хтоническим: «Солнечная мифология, на которую делает ставку фашизм, становится *идеальным* зеркалом самоидентификации фашистского субъекта: именно при свете солнца ему легче всего увидеть себя в партии, нации, вожде... выставляя себя *идеальным* фаллосом, фашист не отличается по существу от ребенка, который боится его потерять» [Там же. С. 75]. Идеальный фаллос необходим фашисту, чтобы маршировать под бой барабанов и кровавых артиллерийских ливней в абсолютной прозрачности солнечного сияния. Ю. Кристева, рассматривая семиотику определения низменного (отвратительного, abject), подтверждает эти идеи, трактуя многие ритуалы культуры как способы дифференциации от нечистого, материнского и греховного. Женское плодотворящее тело рассматривается как низменное, как угроза целостности и фигуративности (другой вариант угрозы представляют опухоли и язвы). И. Жеребкина интерпретирует abject Кристевой и как ненормативную, уникальную дискурсивность, и как реальную исключенность из социального и символического поля женщин, инвалидов, безработных, нищих, иммигрантов, больных СПИДом, жителей бывшего СССР, queer и т.д. [См.: Жеребкина И. «Будто матерью блюешь...»: философия материнского Юлии Кристевой // Кристева Ю. Эссе об отвращении. СПб.: Алетейя, 2003]. Фашистские режимы, используя маргинальную энергетику abject, выражая, казалось бы, ярость против символического порядка репрезентации и требуя аутентичной мистической позитивности, одновременно сковывают возможности его динамического развертывания, погружая в забвение истоки своего генезиса.

Среди главных последствий сексуальной революции, проводниками которой во второй половине 20 столетия оказались многообразные неофеминистские и студенческие движения, воодушевленные концепциями радикальной версии психоанализа В. Райха или неомарксизмом Франкфуртской школы, мы должны отметить крушение патриархатной семьи (по сути, завуалированной формы женской проституции, зависимости и рабства), дифференциацию сексуальности от функции демографического воспроизводства, а также плюрализацию сексуальных практик под воздействием постчеловеческих new-age биотехнологий и протезов, стирающих границы между человеком, машиной и животным (Д. Хэрэуэй), женщиной и мужчиной. Демократизация интимности, по Э. Гидденсу, предполагает становление расширенных габитусов, то есть психологических, языковых и

ментальных горизонтов, перманентно переопределяющих паттерны участников относительно биополитического контекста, то есть социальной жизни, подвергающейся эмоциональной реорганизации*. Под демократией мы в данном случае понимаем принцип и инфраструктуру включения любых миноритарных идентичностей и языков в перформативный процесс коммуникации, блокирующий возможность использования политического авторитета и подавляющей власти, а также установления априорных и константных определений статусов партнеров ассоциации в пространстве и времени. Автономия индивидов подразумевает отказ от регрессивных психологических диспозиций, выстраивающих прямые и косвенные стратегии принуждения и овладения. Напротив, идеал чистых отношений – это участие каждого в определении и пересмотре условий своей кооперации, которые немыслимы без уважения, искренности, открытости и доверия.

Очевидно, что сопротивление фашистских идеологов данным тенденциям будет нарастать под воздействием различных социальных факторов, но обратить их вспять невозможно без перспективы антропологического коллапса и регресса в «коричневую» религиозную или национал-патриотическую изоляцию.

9. Ур-фашизм строится на *качественном (квалитативном) популизме*. Если в условиях либеральной демократии значение имеет воля количественной (квантитативной) совокупности граждан и при этом учитываются личностные интересы и права, то «в глазах ур-фашизма индивидуум прав личности не имеет, а Народ предстает как качество, как монолитное единство, выражающее совокупную волю... Утратив право делегировать, рядовые граждане не действуют, они только призываются – часть за целое, *pars pro toto* – играть роль Народа. Народ, таким образом, бытует как феномен исключительно театральный» [Эко У. Вечный фашизм // Эко У. Пять эссе на темы этики. СПб.: Симпозиум, 2000. С. 77]. Квалитативный популизм исключает возможность представительства индивидуальных или коллективных интересов в гетерогенном целом, поэтому Ур-фашизм *«ополчается против «прогнивших парламентских демократий»*. Первое, что заявил Муссолини на своей речи в итальянском парламенте, было: «Хотелось бы мне превратить эту глухую, серую залу в спортзал для моих ребяток» [Там же].

10. Наконец, по Эко, *ур-фашизм говорит на Новоязе*: «И нацистские, и фашистские учебники отличались бедной лексикой и примитивным синтаксисом, желая максимально ограничить для школьника набор инструментов сложного критического мышления» [Там же. С. 78]. Депривированные в культурном и символическом плане слои населения, как известно, не осознают своей ущербности. Мы могли бы добавить, что постсовременная философская мысль проблематизировала не только политические функции определенных форм использования языка, но и самого

* См. подробно: Гидденс Э. Трансформация интимности. Сексуальность, любовь и эротизм в современных обществах. СПб.: Питер, 2004.

языка как такового. Достаточно вспомнить феминистскую критику речевых, психолингвистических, семантических и синтаксических структур, насильственно предписывающих женщине второстепенную, подчиненную позицию в границах языковой тюрьмы*. Собственно, еще Р. Барт в январе 1977 года в лекции в Коллеж де Франс выступил с обвинением зыка в «фашизме», в принудительном навязывании говорящему своих грамматических смыслов [Барт Р. Избранные работы. Семиотика. Поэтика. М.: Прогресс, 1989. С. 549], а «Фрагменты речи влюбленного» писал, всячески избегая уточнять, к какому полу относятся его персонажи, пользуясь намеренно нейтральными обозначениями [Зенкин С. Стратегическое отступление Ролана Барта // Барт Р. Фрагменты речи влюбленного. М.: Ad Marginem, 1999. С. 14]. Лишь субверсивное письмо, аномальная детерриториализирующая революция поэтической речи в постэдипальном пространстве плазматической хоры способны вывести нас «по ту сторону» политических механизмов присвоения и овладения. При этом речь сегодня идет, по видимому, не столько о противостоянии, неизбежно подвергаемом «интерпелляции» (Л. Альтюссер), сколько о практиках онтологического бегства и перманентного текстуального «дезертирства».

Симптомы и традиции «интеллектуального ГУЛАГа» и психополитических констелляций ур-фашизма, описанные нами выше, имеют длительную историю и укорененность на российской почве. Процессы постмодернизации внесли коррективы в их работу на уровне коллективного тела и желания – ныне, выражаясь словами Эко, ур-фашизм все чаще маскируется, мимикрирует и предпочитает «ходить в штатском». Тем не менее, реставрация административно-бюрократической системы (пускай в виде непристойного полуфеодального фарса) и коррелятивные ей микромолекулярные неоконсервативные спазмы в феноменологических капиллярах повседневности, сами по себе вызывают тревогу, поскольку оказываются вписанными в иерархирующий биополитический контекст глобализации (производства субъективности) и структурный контекст устойчивой экономической дифференциации (внутренней колонизации). Закат публичного пространства, концентрация индивидов в замкнутых и непрозрачных социальных «кластерах», обладающих несопоставимыми ритуалами деятельности и кодами коммуникации, превращение значительных территорий страны в резервационные заповедники усиливают эффекты всеобщей апатии, цинизма, недоверия, отчуждения и одиночества. Ситуация усугубляется тем, что российский вариант «реставрации» развивается с использованием общемировых ресурсов галлюциногенной виртуальности (способов психотического отказа от реальности метастазирующей войны, например, кавказской) и совпадает с феноменом неолиберальной, «холодной» модели глобализации, реакцией на которую является повсеместная

* См., в частности: Спендер Д. Мужчина создал язык; Лакофф Р. Язык и место женщины; Сиксу Э. Хохот Медузы // Введение в гендерные исследования. Ч. 2. Хрестоматия. Харьков: ХЦГИ, СПб.: Алетейя, 2001.

«консервативная революция»*. При этом центром «консервативной революции» является сам западный мир, изобретающий сакральный исламский Террор с большой буквы: по словам М. Рыклина, «Изобретая Террор с большой буквы, парадоксальным образом доказывающий нашу собственную невинность, мы неизбежно вкладываем в образ врага сокровеннейшую часть нас самих... Если процесс овнешнения и вытеснения будет продолжаться, число запретов и других проявлений электронной несвободы может увеличиться настолько, что это и станет настоящим апокалипсисом – попытка его избежать, другими словами, лишь приблизит его наступление» [Рыклин М. Город и апокалипсис (К годовщине 11 сентября 2001 г.) // Гендерные исследования, № 7-8, 2002].

Постмодернистские тенденции в России оборачиваются имплозией смыслов, деструктивными пародиями, бесчеловечным экономическим утилитаризмом и спонтанными вспышками неприкрытой, «порнографической» агрессии, которым сопутствуют безмолвные экзистенциальные и суицидальные страдания. Общество скатывается в вязкий омут расизма и сексизма, осуществляющий разрушительную работу в политическом бессознательном. Яркие примеры тому – события в Беслане и история «Норд-Ост» в Москве, когда в результате циничных и намеренно лживых действий чиновников и силовых служб погибли сотни людей. И. Жеребкина отмечает, что «впервые в истории русской культуры в столь щекотливой ситуации угрозы гибели большого количества собственного народа никаких других аргументов штурма, кроме сохранения текущего режима власти, просто не артикулировалось» [Жеребкина И. Гендерные 90-е, или Фаллоса не существует. СПб.: Алетейя, 2003. С. 19]. Точно также откровенно гестаповские нравы в казармах, посредством которых дрессируется новая пролетарская мужественность, игнорируются на том основании, что, по словам министра обороны, «дедовщина начинается еще в детском саду». Скрытая, непубличная непристойность в постсоветском культурно-географическом пространстве является менее эффективной, чем ее откровенная демонстрация, эксцесс, избыточный по отношению к символизации*. Когда «ложь возводится в систему» (Ф. Кафка), обесмысливается любой просвещенческий проект, поскольку предпосылка неприменимости рефлексии к повседневному существованию является условием функционирования «превращенной» и овеществленной текстуры капиталистической социальности. Ситуация искажения работает сегодня на уровне, где индивиды действуют, а не просто *осознают*, что они действуют (формула «идеологического фантазма» Жижека).

* Политическая генеалогия российской «реставрации», а также дискурсивные и культурно-психологические структуры постсоветского травматизма блестяще описаны и исследованы в книге М. Рыклина «Время диагноза» (М.: Логос, 2003).

* См.: Жеребкина И. Философия после «Норд-Оста», или о политиках сопротивления в бывшем СССР // Гендерные исследования, № 7-8, 2002. Исследование новых идеологических явлений эпохи постмодернити с позиций соединения концептуального аппарата Ж. Лакана (триада «реальное», «символическое», «воображаемое») и политэкономического подхода К. Маркса представлено, прежде всего, в многочисленных работах С. Жижека, отчасти Р. Салецл и других авторов Словенской школы психоанализа.

Ур-фашизм предстает в самых невинных формах, идеологических феноменах и неожиданных местах – в вечернем ток-шоу, в каждодневной телевизионной юмористической идиотизации, в меркантильном цинизме, в оружии, освящаемом священниками церкви, в бытовых насмешках и издевках по отношению к инвалидам или людям с другим цветом кожи и разрезом глаз, в языке политиков и подростков, на официальном концерте в честь «праздника настоящих мужчин», в призывах к женщинам быть «хранительницами домашнего очага», в спальне, на кухне или в спортивном зале школы... Совсем не обязательно выходить на трибуны и требовать открытия нового Бухенвальда или Освенцима. Именно поэтому мы должны с особым вниманием выявлять очаги возникновения протофашистских сгущений, обращая внимание как на институты государственной власти, так и на неочевидную микрополитическую экономию и способы ее дискурсивных самоописаний, используя разнообразные методологические ресурсы. В конечном счете, революционная машина поднимется тогда, когда либидинальные потоки перестанут оставаться объектом манипуляции для сил угнетения, то есть когда окажутся подорванными фашистские инвестиции на уровне желания. Активное утверждение новых жизненных энергий на руинах ретерриториализирующей аксиоматики социального поля будет возможно благодаря паранормальному творчеству и событию бескорыстной любви.